

**ЛЯМАН БАГИРОВА**

**Э С С Е**

***Нежность для Людмилы***

*...Со страшным ускорением уходят в небытие соученики, сослуживцы, друзья. Похороны одного совпадают с сороковым днем предыдущего. Не хватает ни сил, ни слов, ни слез. Нечем заполнить вакуум единственной питательной среды – дружбы.*

*Из книги Александра Ширвиндта  
"Shirwindt, стертый с лица земли.  
Книга воспоминаний"*

9-е июля 2019 года. Мы с дочерью и подругой в Питере, поглощенные единственной мечтой – взять штурмом Академию Художеств и пополнить именем дочери списки студентов этого достославного учебного заведения. Все иное: красоты города, переливающаяся то бирюзовым, то стальным блеском Нева, задумчивые красавцы-корабли воспринимаются нами по какому-то остаточному принципу. Вначале экзамены, а потом уж можно гулять со спокойной душой. И все же... Питер есть Питер. Он манит, зовет. Волны плещутся о набережную, невесомые брызги долетают до нас, спешащих, бегущих, стремящихся запечатлеть в своей памяти как можно больше. Мы летим по этому городу на кураже, еще во власти ожидания неизвестного, и верим, что Судьба будет к нам благосклонна. Баку остался далеко, родной жаркий город, в который мы должны вернуться только с победой, и, Боже мой, как бесконечно далеко от нас все то, что сейчас происходит в нем...

В ночь на 9-е июля Вас не стало. Я узнаю об этом только 18 августа, уже по приезде, когда мне позвонит наша общая знакомая и, словно извиняясь, скажет:

– Простите, Ляман, я беспокою Вас по печальному поводу. Дело в том, что Людмилы Николаевны Хохловой 9-го июля не стало. Я звонила Вам, но звонки не доходили. Завтра 40 дней. Вы пойдете?

Конечно, я пошла. Что-то говорила, кому-то выражала соболезнования, сокрушалась о жестокости инсульта, вырвавшем из жизни молодую, яркую женщину, сидела за поминальным столом, слушала проповедь батюшки, скорбно потупляла глаза и ловила себя на мысли, что все эти действия были уже не так важны. Я просто Вас вспоминала, и воспоминания сжимали мне сердце.

Небольшого роста, пухленькая, с большими голубыми глазами и неизменной сигаретой в руках – Вы внушали уважение и умиляли одновременно. Заместитель шеф-редактора газеты «Мир литературы», Вы скрупулезно, даже яростно вчитывались в любой присланный материал, тщательно выверяя каждую фразу, и в то же время так трогательно по-женски причитали: «Боже мой, этот цвет волос совсем не идет мне! Срочно бегу перекрашиваться! Ой, торжество на носу, а у меня еще нет платья. Ой, ну, как это?! Кошмар! Сумочка у меня есть, а туфель под нее нет!»

Ваш голос, хрипловатый, чуть задыхающийся:

– Мой родной! – почему-то Вы обращались ко мне только так. – Что у вас есть для нашего следующего номера? Давайте, давайте!

– Людмила Николаевна, я еще не начинала, вот думаю только подступиться к статье.

– Вздор! Пустое, мой родной! Чтобы через два дня была статья! Я вас жду! – и потом, чуть понизив голос, как-то даже заговорщицки: – Вы же знаете, я вас не правлю. Сразу даю в печать.

«Я вас жду» – в Ваших устах это было наивысшей формой признания. А наши ночные телефонные разговоры... Это была целая поэма!

– Ляман, – раздается в трубке воркующий голос с характерными раскатистыми «р». – Вы не спите? Я буквально на минуточку.

«Минуточка» растягивается до 3-4 часов ночи. Сон накатывает волнами, иногда голос Ваш доносится словно из тумана. Но прервать вдохновенный литературный монолог мне и в голову не приходит. И открывается второе дыхание, сон отступает, поддавшись магии Вашей речи.

Бог мой, чего и кого только нет в этих монологах! И отрешенность Блока, и музыкальность пушкинской строки и воющее одиночество Цветаевой, и царственность Ахматовой, и величие Низами, и древнегреческие трагедии. Вы молниеносно перемещаетесь из одной исторической эпохи в другую, распахиваете двери своего воображения перед литераторами прошлого, сыплете цитатами, стихотворными строчками. И поэты воскресают из небытия, предстают ярко и зримо перед моим внутренним взором. Наверно, они были бы бесконечно благодарны Вам за такие феерические литературные портреты. «Единым росчерком пера» очертить образ... В данном случае лучше сказать: единым монологом, на одном дыхании, сделать литературу близкой, понятной и живой.

Порой роскошь литературных откровений сменяется рассказами об актерах, у которых Вы брали интервью.

– Вот Ульянов, – журчит в трубке Ваш восторженный голос, – прелесть-человек был, царство небесное ему. – Бездна обаяния и остроумия. Но хитрован, ой, какой хитрован! На вопросы отвечал вроде прямо, а вроде как с подковырочкой!

Иногда Вы устаете. Я могу лишь догадываться об этом по учащающимся паузам в разговоре. Вы закуриваете, задумываетесь и вдруг вопрошаете:

– А вы, мой родной, не курите?

– Нет.

– И правильно делаете. Но если решите закурить, то рекомендую только ванильные. От женщины всегда должно приятно пахнуть.

По-моему, запах табака неприятен, особенно от женщины, как его не забивай, ванилью ли, ментолом. Но возражать мне не хочется. Слишком уж интересно следить за развитием Вашей мысли.

– А вы любите собак? Ах, да-да, вы же кошатница, я забыла. Но собаки – это особый мир. Вот у меня...

И дальше звучит новый блестящий монолог о самом преданном друге человека. И снова пауза.

– А знаете, мой родной, какое у меня любимое произведение? Ни за что не догадаетесь. – Вы выдерживаете уже театральную паузу и детски-торжественно провозглашаете: – «Нежность» Анри Барбюса.

При словосочетании «Анри Барбюс» память выдает мне нечто смутное. Французский писатель-коммунист, друг Советского Союза, автор знаменитого романа «Огонь» и биографий Сталина. Умер в Москве в 1935 году, похоронен в Париже, на его могиле установлен памятник из уральского камня и выгравированы слова Сталина о писателе. О «Нежности» я не слышала.

– Ну как же? – выдыхаете Вы, и кажется, что телефонная трубка доносит запах ванильных сигарет, – это же одно из потрясающих произведений о любви. Все его по-

литературные романы забылись, а этот маленький рассказ из четырех писем бес- смертен, ставится на всех сценах мира, да и наш Кара Караев написал по нему мо- нооперу. Неужели не слышали?

Мне стыдно. Я поспешно заверяю, мол, конечно, слышала, просто запамято- вала. В мозгу же моментально вспыхивает красная лампочка: «Запомнить: «Неж- ность» Барбюса! Прочсть немедленно!»

– Ну вот, – удовлетворенно выдыхаете Вы в трубку, – а говорите, не помните. – И вдруг Вас осеняет: – А напишите, мой родной, о Барбюсе! Давайте, давайте! Для следующего номера газеты. Тем более, он тоже родился в мае, как и я. Нет, вы пред- ставляете, я родилась в один день с Булгаковым – 15 мая, а Барбюс – 17 мая! Нет, вы представляете, они тоже Тельцы, как и я!

– Но...

– Никаких «но». Все у вас получится. Я вас жду! Ну, все-все. Давайте заканчи- вать, а то мы с вами до утра проговорим.

В трубке раздаются гудки. В окно насмешливо подмигивает звезда: «Ну что же? Поняла? Она ждет! Пиши!»

\* \* \*

Эссе о Барбюсе я так и не написала. Как-то закрутили дела и меня, и Вас, видно, белки нашей жизни вертели свои колеса исправно и молниеносно. В послед- ний год и общались редко, все бежали и бежали в беспрерывной рутине дней. До Барбюса ли с его неведомой «Нежностью»? Потом мы уехали, а Вас не стало.

Но «время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправию», и я сейчас пишу для Вас статью о Барбюсе, и знаю, что Вы никогда ее не прочтете. И все же...

Итак, Анри Барбюс (1874–1935), французский писатель. Родился 17 мая 1873 в маленьком городке Аньер под Парижем, отец француз, мать англичанка. Учился в Сорбонне, публиковался в парижских газетах, но заметки его популярностью не поль- зовались. В 1895 напечатал маленькую книгу стихов «Плакальщицы», имевшую успех, в 1908 выпустил первый роман «Ад». С началом Первой мировой войны ушел на фронт рядовым-добровольцем, был дважды награжден, написал роман «Огонь», за который получил Гонкуровскую премию в 1917 году, и который стал одним из лучших романов о войне. Константин Паустовский так писал об этом романе: «Одной из не- ожданых для здешнего края примет недавней войны была книга Анри Барбюса «Огонь», попавшая каким-то чудом в Сухум.

Я читал эту крепкую, как солдатский шаг, мужественную и человечную повесть Барбюса у себя в саду, в тени банана. Изредка я подымал глаза. Мне нужно было какое-то время, чтобы сообразить, что я нахожусь не на полях Шампани или в Ар- деннах, где в залитых ливнем окопах тесно смешались обе армии – и французская и немецкая – и солдаты тонут в грязи. Мне нужно было время, чтобы перенестись с полей Франции в этот нарядный от света и опьяняюще пахнущий край.

В такие минуты он казался мне особенно чуждым – лакированным и одновре- менно тоскливым».

За ним последовал роман на ту же тему – «Ясность». Барбюс был одним из пер- вых, кто начал описывать войну, ни в коем случае не поэтизируя ее, а беспощадно и сурово. Он стал лидером международного движения «Кларте», пропагандирующего пацифизм, социальное равенство и интернациональную солидарность. Барбюс осно- вал также и Всемирный комитет против войны и фашизма.

Поборник мирового коммунизма, он после поездки в СССР написал книгу «Рос- сия», мечтал написать полную биографию Ленина, но не успел. Зато написал книгу «Сталин», пользовавшуюся в СССР невероятным успехом. В ней он восторженно про- возгласил «Сталин – это Ленин сегодня».

Приезжал в Москву 4 раза, всегда был почетным гостем. В последний раз Барбюс приехал в Москву в 1935 году и умер там же 30 августа 1935 года.

А в памяти читателей и в истории литературы он остался вовсе не этими громохочущими военными романами и пафосными речами на антивоенных конгрессах, а крохотным рассказом «Нежность», потрясающе пронзительным и щемящим. По силе воздействия его можно сравнить, пожалуй, только с «Письмом незнакомки» Цвейга. В рассказе нет ни слова о политике, однако именно он принес Барбюсу огромную славу и успех. Сюжет его незамысловат. Герой рассказа получает в течение двадцати лет пять писем от своей любимой, жениться на которой ему не разрешили родители.

*«Вот уже двадцать лет, как мы расстались... И вот уже двадцать лет, как меня нет в живых, дорогой мой. Если ты жив и прочтешь это письмо, которое перешлют тебе верные и почтительные руки, – те, что в течение многих лет пересылали тебе мои предыдущие письма, ты простишь мне, – если ты еще не забыл меня, – простишь, что я покончила с собой на другой же день после нашей разлуки. Я не могла, я не умела жить без тебя.*

*Сегодня мы говорим очень тихо, почти неслышно, – уж очень мы далеки друг от друга, ведь я существую только в тебе, а ты уже забыл меня. Сегодня значение слова **сейчас** для той, которая его пишет и шепчет, совсем иное, чем для того, кто будет читать это.*

*Сейчас, преодолев такое громадное расстояние во времени, преодолев вечность, – пусть это покажется нелепым, – сейчас я целую тебя, как прежде.*

*Вот и все... Больше я ничего не прибавлю, потому что боюсь стать печальной, а значит, злой и потому, что не решаюсь признаться тебе в тех сумасшедших мечтах, которые неизбежны, когда любишь и когда любовь огромна, а нежность беспредельна.»*

Да не обвинят меня в излишней экзальтированности, но у меня перехватило дыхание после чтения этих строк. Обжигающие нежностью, а в сущности, очень простые слова, обладали невероятной силой. Наверно, только так и можно говорить, когда обращаешься от сердца к сердцу.

Как пела великая соотечественница Барбюса Эдит Пиаф: *«Слова, обычные слова/ Их все друг другу повторяют/ От них кружится голова/ Дыханье замирает».*

Слова любви всегда одинаковы, сила лишь в устах, произносящих их.

Неудивительно, что именно этот малюсенький рассказ пережил все идеологические романы своего автора. Война войной, прогресс прогрессом, а человек за тысячи веков своего существования изменился мало – так же любит и негодует, ненавидит и радуется, страдает и верит в лучшее: в счастье, в нежность, в чудо. Верит и надеется, несмотря ни на что. Потому что если не верить, то вроде бы и жить можно, но уж больно скучно. А от скуки до жестокости всего один шаг. И лучше этого шага не делать.

Не знаю, смогла ли я написать эссе об Анри Барбюсе. Скорее всего, нет. Творчество пышноусого, с суровыми и острыми чертами лица, французского писателя-коммуниста слишком далеко от меня. Кроме, пожалуй «Нежности» – маленькой бессмертной песни во славу неумирающей любви.

Но я написала его, как смогла, – это ни на что не похожее эссе-воспоминание. И пусть Вашей душе, «мой родной», будет светло и нежно.

**Я люблю тебя.  
Это значит – я желаю тебе добра.**

*Любовь по природе своей трагична.  
Н. Бердяев*

Наша улица недаром носила название Хребтовой. Словно Атлант, она держала на своем хребте-позвоночнике первые новости, сплетни, слухи. Где игрались самые веселые свадьбы? На Хребтовой! Где устраивались самые пышные поминки? Конечно, на Хребтовой! Где происходили самые темпераментные ссоры, скандалы и выяснения отношений? Опять же на ней, родной нашей Хребтовой, вырастившей-взлелеявшей не одно поколение своих жителей. Жизнь на улице не замирала ни на секунду! Все решалось сообща, бурно и ярко! Конечно, не так шумно, как на Советской, но и не так незаметно, как интеллигентной Коммунистической! Кажется, мы с няней знали каждый уголок нашей улицы. Еще бы! Каждый день отправлялись с ней на прогулку и непременно здоровались со всеми знакомыми!

На углу Хребтовой, около овощной будки, «стоял» «самовар». Так называли калек, лишившихся рук и ног. Встречались они редко, и каждое их появление было памятным. Обычно они просили подаяния. Тулово их было накрепко привязано к небольшой деревянной платформе на колесиках. Рядом с ними непременно должен был быть поводырь. Лишившимся только ног было легче. Они отталкивались от земли особыми колодками – «утюжками», развивали большую скорость, и руки их от этого становились сильными и мускулистыми. «Самовары» были лишены этой радости. Они держались прямо и молча, прикрученные ремнями к своим деревяшкам, а поводырь тянул тонким голосом: «Подайте защитнику Отечества, подайте на хлеб увечному»...

Поводырями большей частью были пожилые женщины или иногда мальчики лет восьми-десяти, все как на подбор гнусавые, бледные, с покрытыми цыпками руками. Прохожие жалели: деньги, хлеб и фрукты так и летели в шапки. Особо сердобольные приносили горячую еду в мисках и смотрели, вздыхая, как поводырь торопливо ел сам и кормил «самовара». Некоторые подносили и рюмочку. «Самовар» хрипло благодарил, и они с поводырем снимались с места. До завтра. А может, и до послезавтра. Как получится. Насколько хватит денег, чтобы забыться на дне стакана. В сне они были молоды и сильны, их любили женщины, и улыбалась жизнь. Потом наступало жуткое опамятование, когда все надо было делать с чужой помощью: одеваться, пить, есть, умываться... Многим «самоварам» удавалось свести счеты с жизнью, и может быть, смерть была к ним более милосердной...

У «самовара», несшего вахту на углу Хребтовой, было улыбочное лицо. Маленькие карие глазки его приветливо глядели на каждого прохожего, подававшему ему. Казалось, он не чувствовал своего положения, не видел в нем ничего тягостного. Просто радовался тому, что живет. Рядом с ним стояла худощавая женщина средних лет с некрасивым, рябеньким, но очень милым лицом. И глаза ее тоже улыбались. Няня всунула мне в руку железный рубль.

– Положи, детка, в шляпу дяде.

– Нет, – остановил ее «самовар». – Вы лучше моей жене отдайте.

Я протянула деньги женщине. Она аккуратно, даже как-то изысканно взяла их и спрятала в карман.

– Дай Бог вам здоровья, – поклонилась она.

– А вы – молодец, – похвалила ее няня. – Не бросили мужа. Многие-то жены и не выдерживали такого.

– Да я не жена, – просто ответила женщина. – Так, полюбовка. – Жена от него ушла сразу, как он вернулся. А я по соседству жила, мужа на войне убило, сынок тоже не выжил. Ну, вот как-то и сошлись потом. Так и живем.

– Ага, – подмигнул «самовар». – Хорошо живем, не жалуемся!

Женщина застенчиво засмеялась и поправила плед, которым он был укутан по плечи.

Няня смотрела на них во все глаза. Потом положила руку мне на затылок и резко нагнула голову.

– Поклонись, детка, – тихо сказала она, и голос ее дрогнул. Сама она поклонилась в пояс, и затем мы быстро зашагали по тротуару.

Няня шла молча. Так же тихо прошел весь день. Няня больше не возвращалась к увиденному.

И лишь однажды, много лет спустя – я была уже на втором курсе института, – зазвала меня к себе (мы жили по соседству). Я не знала тогда, что вижу ее в последний раз. Через десять дней ее не стало, и ушла она тихо, как птица. Просто оставилось сердце. Но, может быть, уходящему ведом Его час?..

– Возьми, Лямаша, на память, – протянула она мне небольшой томик в выцветшей обложке.

Я взглянула. «Вероника Тушнова. Лирика.». Об этой поэтессе я слышала, но ничего, кроме ее стихотворения «Сто часов счастья», не читала.

– Помнишь, как однажды мы встретили нищего калеку на улице, и рядом с ним была женщина? Ты маленькая была, я не хотела, чтобы ты вспоминала об этом, а сама несколько дней проплакала. Лямашенька, я когда эту книгу читала, то сразу женщину ту вспоминала. «Чтобы не было сердце лениво, спесиво, \Чтоб за каждую малость оно говорило «спасибо». Вот и та женщина такая же. И эта поэтесса несчастная. Сердцем дышали. Возьми книгу, ты литературу изучаешь, тебе пригодится, только не теряй.

Я, конечно, стала отнекиваться – няня была ни в какую:

– Возьми, и все!

Поблагодарила, взяла, ушла. И, спускаясь по шести ступенькам няниного дома, не знала тогда, что шагаю во взрослый мир потерь.

И сейчас, когда я раскрываю уже потерявший первоначальный цвет томик, то вспоминаю тихое нянино «Сердцем дышали» и понимаю, что лучше и не выразить лирику Тушновой, как этими словами.

Я не задаюсь целью пересказывать всю биографию Вероники Михайловны. Это можно сделать с помощью книг и интернета. Нет, в первый месяц весны, месяц женского праздника, мне хотелось бы вспомнить о ней не только как об имениннице марта, но в первую очередь как о человеке, чье «сердце трепетало на ладони» в «крайнем страдании и острейшем счастье».

*Беззащитно сердце человека,  
если без любви ...*

*Любовь – река.*

*Ты швырнул в сердцах булыжник в реку,  
канул камень в реку*

*на века ...*

Чем больше читала о Тушновой, тем более крепла во мне уверенность, что любовь, ставшая главной темой ее творчества, наполняла собой все ее существо. И увы, обычно это удел всех внутренне одиноких людей. Вероника выросла в семье ученого, профессора Казанского ветеринарного института Михаила Тушнова – человека разносторонне образованного, но необыкновенно властного и деспотичного. Все в доме до мелочей подчинялось и согласовывалось с ним, вплоть до того, из какой материи шить маленькой Веронике платья, какие продукты закупать и в какой час подавать обед или ужин. Вероника, с детства прекрасно говорившая на английском и фран-

цузском языках (впоследствии знание языков пригодилось ей в работе над переводами), мечтавшая о литературе и живописи, вынуждена была подчиниться воле отца и поступила на медицинский факультет Казанского университета. Потом продолжала учиться уже в Москве, куда по работе был переведен отец. Затем – аспирантура. Выходит замуж за врача-психиатра Ю.Розинского. И продолжает писать стихи. К 1938 году относится ее первая публикация. И, вроде, мечта начинает сбываться – она поступает в Литературный Институт. Но учиться не довелось. Начинается война – Вероника с матерью и маленькой дочерью эвакуируется в Казань, где работает врачом нейрохирургического госпиталя. В 1943 году возвращается в Москву, работает ординатором в госпитале. Тогда же распадается первый брак.

И тогда же ее лирика начинает завоевывать признание. Говорят, знаменитый актер Качалов плакал над ее стихами и даже устраивал домашние вечера чтения.

Постепенно ее произведения становятся широко известными. Выходят сборники стихов. Она много путешествует по стране, переводит с разных языков.

Но я дала себе слово, что не буду пересказывать биографию поэта. Остановлюсь лишь на последних годах. Именно в это время были написаны самые знаменитые стихи, обессмертившие ее имя – «Не отрекаются любя» (а потом родилась и знаменитая песня композитора Марка Минкова, исполненная А.Пугачевой), «Сто часов счастья» и мн. др. Некоторые стихи ее, написанные в этот период, звучали почти как молитва окровавленного сердца:

*Пускай лучше ты не вступишь меня,  
чем я не открою двери.  
Пускай лучше ты обманешь меня,  
чем я тебе не поверю.  
Пускай лучше я в тебе ошибусь,  
чем ты ошибешься во мне.  
Пускай лучше я на дне окажусь,  
чем ты по моей вине.  
Пока я жива,  
пока ты живой,  
последнего счастья во имя,  
быть солнцем хочу  
над твоей головой,  
землей –*

*под ногами твоими.*

И вся эта несравненная лирика (ее действительно не с чем сравнить) рождена чувством к одному человеку, писателю Александру Яшину. Если можно применить булгаковское определение о том, что «любовь выскакивает из-за угла и поражает как финский нож», то наверно это сказано о них... Сейчас этого писателя мало кто вспомнит. А между тем именно о его рассказе «Рычаги» о подавлении личности партийным аппаратом Солженицын сказал, что «автор «Рычагов» навсегда останется в мировой литературе, ибо те рычаги кое-что повернули»...

Но все же его имя по сей день больше вспоминается, когда говорят о Тушновой. Это была беззаветная и несчастная любовь. Но, возможно, именно обреченность этой любви дала неслыханный взлет лирике поэтессы. Лирике женской, очень камерной, тихой, но такой, от которой вздрагивает и откликается ахнувшим звоном сердце.

Яшин был женат, у него было четверо детей. Роман был мучительным. Тушнова рассталась со вторым мужем, писателем Юрием Тимофеевым, главным редактором издательства «Детский мир», расставание было очень тяжелым.

Яшин не смог уйти из семьи. Я не буду давать оценки этому поступку, у меня на это нет никакого права. Этого права нет ни у кого, никто не был в шкуре этих людей, не знал, как они страдали и мучились...Просто как свидетельства этого горького счастья одно за другим появляются стихотворения – жемчужины... «А знаешь, всё ещё будет!» «Вспоминай меня», «Сто часов счастья», «Без обещаний жизнь печальней», «И никто не знает», «Не отрекаются, любя»...

Можно понять жену, мать четырех детей, на ее стороне и мораль, и закон. И, Бог его знает, сколько еще слез, нервов, страданий...

Но нельзя понять, когда добивают более слабого. А Тушнова в этой ситуации была наиболее слабым звеном.

Когда появилось стихотворение «Сто часов счастья», жена Яшина ответила стихотворением «Сто часов счастья взяла и украла».

Возможно, это окончательно подкосило и без того издерганную Веронику. Весной 1965 года 54-летняя поэтесса тяжело заболела. Но даже тогда нашла в себе силы ответить. Тихо, достойно, пронзительно, как могла только она, Тушнова.

*А я с годами думаю все чаще,  
Что краденое счастье – тоже счастье,  
Что ситник краденый – все тот же хлеб насущный,  
Спасенье жизни неблагополучной,  
А может, несравненно слаще даже.  
Поверьте, это не в защиту кражи,  
Но просто я убеждена, что сытый  
Не представляет, сколько стоит ситный.*

Вероника Михайловна сгорела от рака за несколько месяцев. 7 июля 1965 года ее не стало. За день до смерти произошло ее последнее свидание с Яшиным. Ровно через три года, 11 июля 1968 года, от той же болезни скончался Александр Яшин. Судьба, словно в песне, все же соединила их:

*Три года ты мне снилась,  
А встретила вчера...*

И в заметенной житейскими хлопотами памяти моей порой всплывают отчетливые и печальные картины:

...Детство, «самовар» с рябенькой «полюбовкой», их лики, светящиеся любовью, нянино «Поклонись, детка», затрепанная книжица с едва различимой надписью «В.Тушнова Лирика» и вновь нянино – «сердцем дышали»...

«Сердцем дышали, сердцем дышали», – звенит в душе колокольчик недостижимого счастья...О, сколько их, так и не достигших обетованной радости, выплескивавших свою боль в стихах и песнях...

И слова совсем другого поэта ложатся на душу, когда я думаю о Тушновой и тихой силе ее великой любви:

*Их голосам всегда сливаться в такт.  
И душам их дано бродить в цветах,  
И вечностью дышать в одно дыханье,  
И встретиться со вздохом на устах  
На узких переправах и мостах,  
На хрупких перекрестках мирозданья...*

**Примечание.** В эссе, помимо стихотворений В.Тушновой, использованы строки из стихов А.Фатьянова и В.Высоцкого.



## **Дорогая «пятерка»**

Этого экзамена я боялась более всего. И вовсе не потому, что он был труднее других. Были экзамены и потяжелее. Но, как гласит студенческая мудрость: главное – не предмет, а психология преподавателя. Разгадаешь психологию человека – считай, все в ажуре. Но в том-то и дело, что разгадать нашего преподавателя по советской литературе было невозможно. Мстислав Иванович не подходил под определения. Чувствовалась в нем какая-то страшная боль, будто что-то раздирало его изнутри. Особенно когда он рассказывал про Фадеева и его самоубийство. Обычно спокойный, педагог наш мгновенно краснел, белые волосы развевались, и даже голос повышался на несколько тонов. Это уже потом мы узнали, что Мстислав Иванович был арестован, по 58-й статье отбывал срок в Семипалатинске и что такое ужас репрессий, знал не понаслышке. Лекции его были странными, словно обращенными внутрь себя, к какому-то невидимому собеседнику. Мысль прерывалась, обрастала воспоминаниями, словно тысяча нитей, запутанных, скрученных. Нити эти обрывались, но и образовывали связи. Большая часть дурашливого студенческого братства не вслушивалась в лекции и, тем не менее, подпадала под неясное обаяние лектора.

Однако, как ни крути, а экзамен сдавать надо. Вытянув билет, я приуныла. «Разгром» Фадеева, «Цемент» Гладкова, трилогия Федина. Как на подбор, одни из любимых моих произведений. А молчать и просто что-то мычать нельзя – шла на красный диплом, этот экзамен – последний перед защитой диплома.

Вспомнив наскоро, что говорилось об этих романах в учебнике, я бесцветным голосом стала бормотать нечто, изображающее знания. Мстислав Иванович слушал безучастно, подперев голову и отрывистыми движениями перелистывал мою зачетку. По всему было видно, что он с удовольствием влепил бы мне «тройку», что было бы милосердно, ибо заслуживала я «неуда». Но... Набежали минуты, перелистывалась зачетка. Круглая отличница с первого курса. Влепить «тройку» – испортить диплом. Лицо Мстислава Ивановича выразило крайнюю степень разочарования и усталости:

– Достаточно, – отрезал он скрипучим голосом и стал выводить мне «пятерку». Это уже было выше моих сил, но и признаваться в собственном фиаско ни за что не хотелось.

– Следует заметить, – тихо отчеканила я, – что в этот период творили не менее выдающиеся мастера пера. Паустовский, Каверин, а одним из правдивых произведений о войне можно назвать «Спутники» Веры Пановой.

Рука с зачеткой на секунду замерла и взгляд, брошенный исподлобья, выразил заинтересованность. Этим имен не было в программе, я назвала их в отчаянии, просто потому, что любила.

– Вы читали Панову? – Голос Мстислава Ивановича был ровным, но во взгляде по-прежнему сквозила искренняя заинтересованность и даже уважение. Ручку с зачеткой он отложил.

– Да. «Спутники», по которым был снят прекрасный фильм «На всю оставшуюся жизнь», повесть «Ясный берег», «Кружилиху», «Сережу», конечно, – как ни в чем не бывало заявила я и принялась рассказывать о «Спутниках» – великолепном романе о буднях военно-санитарного поезда, о сложных судьбах ее главных героев.

К концу рассказа в моей зачетке было не просто «пятерка», я получила одобritельную улыбку Мстислава Ивановича, что было большой редкостью.

– Вы меня не разочаровали, – тихо сказал он, протягивая зачетку. – Приятно видеть думающих студентов. Приятно, что вы читали Панову. Удачи!

С той поры минуло почти 30 лет. «Пятерку» у Мстислава Ивановича до сих пор считаю самой дорогой и памятной. И не только потому, что мне удалось выкрутиться и найти «подход к разгадке» нашего преподавателя. А еще и потому, что имя, которое я так удачно назвала, действительно заслуживает внимания и благодарной памяти.

\* \* \*

Итак, Вера Федоровна Панова. Героиня моего нынешнего эссе. Официально признанная советская писательница. Автор романов «Спутники», «Кружилиха», «Сентиментальный роман», «Евдокия», повестей «Ясный берег», «Рабочий поселок», многих рассказов, пьес, исторической эссеистики (последняя ее работа – историческое эссе «Жизнь Мохаммеда», посвященное пророку Мохаммеду), трижды лауреат Сталинской премии. Превосходный журналист с цепким, мужским взглядом на описываемое и чисто женской способностью запоминать и вбирать мелочи во всем их многообразии.

В Ростове-на-Дону, где 20 марта 1905 года родилась будущая писательница (кстати, она так и писала о себе в автобиографических эссе – *«говорила: хочу быть писательницей и буду!»*), на улице Пушкинской есть приметный дом. Сейчас в нем Музей изобразительных искусств. А в начале 20-х был Дом работников просвещения. В одной из комнат его собиралась РАПП – Ростовская ассоциация пролетарских писателей – литературная молодежь. Одной из активных участниц РАПП была юная Вера Панова – тоненькая девочка в красной косынке с удивленными и удивительными глазами. Казалось, она запоминает ими все: цвет и движение воздуха, угловатость и округлость вещей и слов, жесты, лица, фигуры. Такие лица бывают у очень приметливых и азартных художников, которым хочется все запечатлеть на полотне или на бумаге. У Верочки Пановой уже в те, юные годы была эта страсть: рисовать, живописать, только не красками и карандашом, а словами. Ее друзья знали, что она с трудом проходила мимо чистого листа бумаги, ее тянуло непременно набросать на нем новое, чем-то привлекшее ее внимание лицо, слово, фразу. Впрочем, памятью она обладала феноменальной: все словно фотографировалось в ней, чтобы потом в нужный момент вынырнуть и лечь на бумагу.

Получив задание, собрав и обдумав материал (а все это делалось как будто на бегу, на ходу), она садилась за свой стол в привычной, характерной для нее позе – поджав под себя одну ногу. Придвигала стопку заранее нарезанных длинных и узких листков, закуривала и ровным красивым почерком писала почти без помарок. Машинистки обожали ее рукописи – четкие, ясные, с тщательно и обдуманно расставленными знаками препинания. «Я – старая журналистская волчица», – любила говорить она о себе. Эту особенность она сохранила на всю жизнь. Даже тяжелейшие болезни, обрушившиеся на нее в последние годы, инфаркты и инсульт, после которого она оказалась прикованной к инвалидному креслу, не смогли погасить ни зоркости глаза, ни точности слуха, ни верности писательского чутья. Самой высшей похвалой в ее устах было слово «профессионал», шла ли речь о писателе или враче.

*«Удивительное у нее лицо, – вспоминала поэтесса Инна Гофф – автор стихов к знаменитой песне «Русское поле». – Глаза круглые, желтовато-карие, хищные. Смеялась она легко и очень добродушно, но взгляд был цепким, вбирающим в себя все до мельчайших деталей. Иногда в разговоре уходила куда-то вглубь себя, и тогда глаза были обращены не на собеседника, а как бы внутрь».* И работа ее всегда (привычка, выработанная со времен юности) производила на стороннего наблюдателя впечатление артистической легкости, виртуозности. Во время работы Вера Федоровна будто и не прислушивалась к спорам. *«Но вдруг поднимет глаза, вынет из уголка рта неизменную папиросу и коротенькой репликой, как озорным щелчком, свалит всю многоярусную тираду выступающего или подбросит тему для нового спора».*

Она была очень иронична, насмешлива, но добра и очень памятьлива на все то доброе, что дарила ей судьба.

А судьба, как и у многих в те годы, была очень и очень нелегкой. С первым мужем и отцом ее дочери Натальи – журналистом Арсением Старосельским – она рассталась, второй муж – журналист Борис Вахтин был репрессирован и расстрелян в 1938 году. Вере с пожилой матерью и тремя детьми – Натальей и двумя сыновьями,

Борисом и Юрием, пришлось очень долго мыкаться, выживать, зачастую голодать. После вызволения Полтавщины из оккупации, где вся семья жила в деревне, беженка с детьми и матерью оказалась в эвакуации на Северном Урале. Все свое детство, отрочество, юность и молодые годы она стирала, убирала, добывала и готовила пищу и всю сознательную жизнь придумывала, как расскажет об этом, как напишет книги, где будет все, с кем она росла и выросла и жила бок о бок. Но не оттого ли так драматичны ее книги, не оттого ли почти все они нашли свое воплощение на сцене или в кино?.. Все герои были пронесены через сердце, через судьбу, ее проза запоминалась как стихи, ибо фраза была не просто написана на бумаге, она была построена. Вслушайтесь, эти фразы звучат как музыка: *«Героиня наша идет, красавица наша идет... Митя! Митя! Вставай, деточка наша приехала. Юленька приехала...»* Так в «Спутниках» родители встречают свою дочь – хирургическую сестру, старую деву Юлию Дмитриевну. Или ставшие уже почти нарицательными фразы из бессмертного «Сережи»: *«Дядя Петя, вы дурак?» «Мы что, все умрем?» «Ушел хозяин сада в поющий розовый мир, куда и Сережа уйдет когда-нибудь».* Или пронзительное по нежности откровение *«Не золотые кудри, не васильковые очи, – волосы прямые, русые, глаза серые, – ах ты, моя милая, ты моя хорошая, куда ж я раньше глядел, где я раньше был, никакой другой нет на свете, позови ты меня сейчас – за тыщи километров побежал бы на твой зов!»* (повесть «Ясный берег»). Мужская точность и выверенность каждого слова при такой женской их сути. Женского в ней было очень много. Даже в последние годы, когда от белой тоненькой Верочки в красной косынке не осталось и следа, когда фигура оплыла и отяжелела, она с нескрываемым удовольствием любила, когда при ней вспоминали ее былую хрупкость.

- Какая я была? – подзадоривала она старых знакомцев
- Тоненькая, как веточка! – отвечали ей хором.
- Как тростиночка, – вторили другие. И она удовлетворенно улыбалась.
- Как спичечка, – говорили трети.
- Ну, это уж слишком! – иронизировала она.

Встречая ее на совещаниях и съездах писателей, многие отмечали нарядность и изысканность, с какими она была одета. Яркая помада, медный оттенок волос, в ушах крупные серьги. Ростовская молодость, юг были в ее крови, хотя почти всю жизнь она прожила в Ленинграде, в квартире на Марсовом поле, и любила этот город трепетной и глубокой любовью. И хотя в своих произведениях она по большей части отдавала предпочтение женщинам скромным, неброским, но с каким удовольствием выписывала своих любимых героинь – Фаину в «Спутниках» («Ах, витязь, то была Фаина»), Марьяну в «Ясном берегу» и «Сереже», Зою большую в «Сентиментальном романе», одетую в стираное-перестиранное платье и грубые туфли и мечтающую о шелковых чулках, лакированных туфлях, замшевых перчатках и белье с кружевами. Писательница сама была – победоносная неистребимая женственность. Все человеческое, женское – любовь, разочарование, материнство, заботливость – все было пережито и выстрадано ею. Ибо надо быть *«живым и только, живым и только – и навсегда».* Такой она и оставалась. И люди, близко знавшие ее, говорили, что она была мастерицей готовить знаменитый ростовский борщ и печь пироги, но еще больше говорили об ее умении деликатно и в то же время не заискивая оказывать помощь другим.

Как-то в воспоминаниях о маршале Б. Шапошникове я прочла запоминающиеся строки: *«Он был последовательным поборником строгой дисциплины, но врагом окрика. Грубость вообще ему была органически чужда. Его нельзя назвать «отцом-командиром» в общепринятом смысле этих слов: он не похлопывал подчинённого по плечу, не спрашивал заботливо, пообедал ли тот. Он был глубоко убеждён, что солдат, тем более командир, должен и может сам вовремя поесть, другое дело — беспокоиться об организации снабжения и обеспечения войск, чтобы продовольствие всегда имелось во всех частях, этого он никогда не забывал».*

Как мне кажется, эти слова в полной мере можно отнести и к Вере Пановой. Она не походила на свои книги. В реальной жизни посторонние ее немного опасались, к ней нелегко было подступиться. И не потому, что она всегда выглядела крайне занятой, а потому, что очень редко улыбалась, почти не шутила, вообще была корректна, но сдержанна до холодности. Но те, кого она, процедив сквозь собственное душевное сито, впускала в свой мир, всегда отмечали ее добросердечие без подобострастия, царственность радушной хозяйки, предельное, настороженное внимание к собеседнику, но без заискивания перед ним. И предельную тактичность в оказании помощи. Делать добро, не афишируя. Чаще всего те, кому она помогала, понятия об этом не имели, а узнав, не осмеливались благодарить.

Так, например, одна из молодых писательниц вспоминала: *«Моя книга залежалась в издательстве из-за того, что ее объем был мал. И вдруг, без каких бы то ни было пояснений, книга внезапно вышла! Когда мне вручали авторские экземпляры, в редакции нашлась добрая душа и подарила мне «на память» три страницы отпечатанного на машинке текста. Это была рецензия Веры Пановой!»*

И до последних своих дней, уже почти обездвиженная, с плохо действующей правой рукой, она находила в себе силы окрылять, подбадривать, поддерживать: *«Душевно благодарю Вас за дорогой подарок – книгу рассказов. Прочла ее – точнее, мне вслух прочли, т.к. сама я не читаю (слабеет зрение), единым духом. Благодарю Вас за радость, которую испытала, читая...»* И далее детальный разбор произведений на пятнадцать страниц. И только почерк, косые неровные строчки выдают то физическое усилие, с которым писалось письмо, возможно, занявшее целый день.

Три черты в ее характере наиболее привлекали внимание: искусство слушать, ошеломляющая особенность живо реагировать на услышанное и увиденное и, главное – железный порядок во всем. Из собственной внутренней железной дисциплины невольно складывалось и стремление дисциплинировать всех, с кем соприкасалась. В общественных местах достаточно было одного ее молчаливого появления, как все подтягивались. Она всегда появлялась незадолго до начала любого мероприятия, никогда не опаздывая. Она никогда не жаловалась, рассказывая о себе, не делилась чувствами, не вникала в пересуды. Была чужда суетности, снобизма. И всегда работала. Праздность была для нее огромным грехом. И всех своих положительных героев Вера Панова наделяет, в первую очередь, стремлением к работе и умением работать азартно, так, чтобы труд был в радость.

*«Жить надо радуясь, умирать надо без страха»*, – как-то написала она. Вера Федоровна Панова умерла 3 марта 1973 года и была похоронена на тихом кладбище в Комарово недалеко от могилы любимой ею Анны Андреевны Ахматовой.

Спустя 14 лет, в первое свое посещение Ленинграда, я стояла около скромной могилы Пановой и вспоминала последние строки из ее романа «Кружилиха»:

*«Будет ли день, когда человек скажет: «Я всем доволен, премного благодарен, мне больше ничего не надо»? Никогда не будет такого дня. Всегда раскрыта земля для новых семян, и никогда не сняты леса для строителя. А кто произнес такие слова, тот мертв, от него нечего ждать живым».*

А еще через 4 года в душевной аудитории Института русского языка и литературы я сдавала экзамен по советской литературе. Нет, я не знала «Цемент» Ф.Гладкова и трилогии Федина. Но, возможно, дорогой наш Мстислав Иванович почувствовал во мне ту самую «не мертвую душу», от которой есть что ждать живым. Пятерка в тот день мне была поставлена не за знания, не за умение складно говорить, а за душу и память. «Пятерка» эта дорога мне до сих пор. Стараюсь быть достойной ее.

**Примечание.** При написании эссе использованы материалы из воспоминаний о В.Ф.Пановой и ее собственные автобиографические эссе.